



Донна Уильямс **НИКТО НИГДЕ**

удивительная *автобиография аутичной девочки*

Донна Уильямс
Никто нигде. Удивительная
автобиография
аутичной девочки

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6546065

Никто нигде. Удивительная автобиография аутичной девочки
[Электронный ресурс] / Донна Уильямс. – Изд. 2-е.: Теревинф; Москва;
2013

ISBN 978-5-4212-0303-2

Аннотация

«Никто нигде» – рассказ о душе человека, жившего в мире «аутизма» и выжившего – несмотря на недоброжелательное окружение и на страшный внутренний хаос. В книге описывается, как, преодолевая препятствия, Донна научилась жить самостоятельно, поступила в университет и окончила его, а затем написала свою примечательную автобиографию. Сейчас Донна – автор девяти книг, художница, автор и исполнитель песен, сценарист и консультант по проблемам аутизма. Книга представляет интерес для педагогов и психологов, для людей с аутизмом и их родственников, а также для широкого круга читателей.

Содержание

Об этой книге	6
Предисловие	13
Никто нигде	18
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Донна Уильямс
Никто нигде. Удивительная
автобиография
аутичной девочки

Nobody Nowhere

The Remarkable Autobiography
of an Autistic Girl

Donna Williams

Jessica Kingsley Publishers
London and Philadelphia

Перевод с английского *Наталии Холмогоровой*
На обложке рисунок *Донны Уильямс*
Over The Edge

© Donna Williams 1992 and 1999

'This translation of Nobody Nowhere is published by
arrangement with Jessica Kingsley Publishers Ltd.'

© Перевод, оформление, «Теревинф», 2012



Об этой книге

Эта книга имеет много адресатов. Многих она увлечет, потому что дает обычному человеку возможность почувствовать, что переживают люди с аутизмом. Позволяет ощутить не только их потерянность в мире «нормальных» отношений, но и очарование волшебного чувства пустоты и полноты растворения в ощущениях тела, звуках, ритмах, кружении, в разноцветных пятнах, узорах букв, слов, орнаментов. И описания этого «упоительного небытия», наверное, не одного вполне «нормального» человека вернет к воспоминаниям собственного раннего детства, заставит испытать родственные чувства: «я сам такой». Вместе с тем, воспринимая эту книгу как помощь в понимании, что такое аутизм, мне кажется, надо учитывать, что эти яркие и точные воспоминания написаны и систематизированы человеком, много читавшим и думавшим, то есть представлены нам уже в соответствии с определенными теоретическими установками автора.

Мы найдем здесь и послание к специалистам, старающимся пробиться к аутичным детям – не думайте, что их можно просто научить правильно вести себя, у них есть основания вести себя плохо, и, продвигаясь в социализации важно учитывать эти основания и искать компромисса. Человек, вырвавшийся «из ниоткуда» говорит нам: будьте твердыми, не

оставляйте попыток, вы нужны и работаете не зря, но будьте и терпеливы, сохраняя внешнюю сдержанность и отстраненность, вы поможете детям самим стать более активными в контактах. «Спокойное присутствие рядом, не глядя на меня, может быть, даже повторение моих действий в нескольких футах от меня и без всяких попыток обратиться ко мне напрямую – все это я восприняла бы как знак понимания того, что я пытаюсь сообщить, и это придало бы мне надежды и отваги». Важно и то, что здесь показывается: просто установлением контакта наша работа не исчерпывается, даже самому умному ребенку с аутизмом для развития нужен постоянный переводчик, подсказчик в осмыслении происходящего.

Читая эту книгу, наверное, все мы, в первую очередь, будем напряженно следить за развитием реальной драматической истории отважного ребенка растущего в очень тяжелых и враждебных житейских обстоятельствах, в чрезвычайно травматических отношениях с мамой. Эту историю легко прочесть и понять традиционно по-диккенсовски: жесткая мать, ребенок, физическое насилие. Все так, но и гораздо сложнее, большее – они обе отвергнуты, и это их общее глубокое несчастье, унижение от невозможности пробиться друг к другу, отчаянное стремление матери, пусть сломав дочь, но вбить ее в рамки «нормального поведения», и стремление дочери доказать, что она не ненормальная и сама не пропадет. Дочь ничего не прощает, но и помнит момент,

когда «она, наконец, заплакала обо мне», что мама искала школы, сняла квартиру, позвала в отчаянный момент домой.

На основе жестокого опыта своего детства Донна Уильямс пытается определить, какую любовь близких она могла бы принять, какая стала бы ей поддержкой. Поэтому эта книга адресована и семьям, воспитывающим похожих детей. Она думает, что это должна быть умная, терпеливая и уважительная любовь-забота и симпатия, не требующая непременно немедленной взаимности, бережно принимающая, но «твердая», с разумными и четкими запретами. «Мне совершенно не требовалось, чтобы меня любили до смерти»; «если любящие родители смогут отстраниться, насколько это возможно, от собственных эмоциональных потребностей и общаться со своими детьми соответственно тому, как сами дети воспринимают мир – тогда, быть может, эти дети обретут уверенность и отвагу... Помогайте им, не вторгаясь в их жизнь – и дети поверят, что вы принимаете их такими, какие они есть, и там, где они сейчас находятся...».

Помимо реальной истории трудного взросления ребенка мы вычитываем здесь и историю внутреннего становления души, узнаем, каково это было, когда «душа выбирается из мусора и встает на путь самоопределения». Это история поиска себя и выхода из своего мира в мир других людей, но «на своих условиях», и, думаю, что чувство собственного достоинства, которому мы сопереживаем, не может не вызывать глубокого уважения. Энергия самоутверждения питает-

ся здесь, конечно, не только желанием доказать свою состоятельность матери и брату. Донна Уильямс стремится в реальный мир, который считает чужим, и потому что уже любит его: небо, землю, деревья, траву, цветы, музыку. Любит «стеклянные окна, в которых можно увидеть себя и помахать себе рукой», маленькую девочку, которая с ней разговаривает, ножки стульчика этой девочки и ее маму, которая кормит ее угрем.

Также и с людьми, с ними воевала маленькая перепуганная девочка, но она же, и тянулась к ним, отзывалась на их симпатию. А людей, пытавшихся «до нее достучаться», тех, кому нравилось то, что нравилось ей, все-таки было много: бабушка и дедушка, отец, тетя, соседские дети и их мамы, девочки в школах, учителя, доктор, и, чтобы не говорилось, она, понемногу, училась принимать их дары. Донна Уильямс запоминает и называет в этой книге, наверное, всех, кому была интересна, кто помогал, учил, кормил, давал приют. Призывом для нее стала и беспомощность маленького брата, желание его защитить. То есть и здесь, в этой жестокой и жесткой истории взросление души движется любовью. Бывает ли по-другому?

О. С. Никольская,

д-р психол. наук, зав. лабораторией

Института коррекционной педагогики РАН

Шерон, моим дедушке и бабушке, и всем Лоури

мира сего – просто за то, что вы есть.

*И отдельное спасибо доктору Лоури Бартак
и Морганам – за то, что помогли мне улучшить
качество связи.*



*В комнате без окон,
В обществе теней,
Ты знаешь: тебя не забудут,
Тебя возьмут с собой.
Потрясенная,
Не спрашивай, важно ли это,
Не позволяй этому тебя расстроить —
Просто начинай сначала.*

*В мире под стеклом
Смотри, как мир проплывает мимо.
Никто здесь тебя не тронет,
Ты думаешь, что ты в безопасности.
Но что, если холодный ветер
Повеет в глубинах твоей души,*

Пока тебе кажется, что никто не причинит тебе боли —

И будет дуть, пока не станет слишком поздно?

Беги, пока не упадешь —

Умеешь ли ты останавливаться?

Все проходят мимо,

Ты машешь им вслед.

Они просто улыбаются —

Ведь ты похожа на ребенка,

Они видят твои слезы,

Но никогда не поймут, что ты плачешь из-за них.

Так послушай моего совета —

Не обращай к специалистам

И долго не раздумывай.

Просто прислушивайся,

Беги и прячься

В уголках своего сознания,

Одна,

Как никто нигде.

Эта книга – история двух битв: одна – за то, чтобы не подпускать к себе «мир», другая – за то, чтобы с ним соединиться. Она рассказывает и о боях внутри «моего собственного мира», и о стратегии, тактике и боевых потерях в ходе моей личной войны с другими.

Эта книга – попытка перемирия на моих условиях. В сво-

ей личной войне я была «она», «ты», «Донна», – и, наконец, «я». Теперь все мы расскажем о том, каково это было – и каково это сейчас.

Если вам нелегко меня понять – не удивляйтесь, так и должно быть. Добро пожаловать в *мой* мир.

Предисловие

Книга «Никто нигде», впервые изданная в 1991 году, стала международным бестселлером, заняв первое место по продажам в США, Канаде, Японии и Норвегии. Пятнадцать недель она оставалась в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и была переведена на 20 языков. «Никто нигде» прочли миллионы «обычных людей», а также и те, кто находится на периферии общества. По иронии судьбы, мужчины и женщины по всему миру, увлеченные моей историей, благодаря ей обретали голос – мой рассказ помог им понять о себе те истины, которые обычно скрываются от глаз и порой загоняют нас в ловушку. Издание моей книги – и многих других книг, для которых моя стала предшественницей – привело к серьезным изменениям в лечении, обучении и статистических исследованиях людей с трудностями развития и помогло запустить на мировом уровне общественные, политические и культурные перемены в отношении к аутизму.

Несколько лет после издания моей книги люди еще продолжали верить, что аутизм чрезвычайно редок, что он поражает лишь четверых из десяти тысяч. Существовал стереотипный образ аутиста – угрюмый, замкнутый, лишенный речи мальчик из среднего класса. Считалось, что 90 процентов людей с аутизмом страдают тяжелой умственной отсталостью, что аутисты неспособны ни к эмпатии, ни к близким

отношениям.

Само слово «аутизм» было почти под запретом: с трудом оно пробивало себе путь сквозь Беттельгеймову теорию «матери-морозилки» (предполагалось, что причиной аутизма у детей становятся их матери – эмоционально холодные работающие женщины из среднего класса). Многие, кому в 1960-х годах ставили диагноз «аутизм» или «психоз раннего возраста», с младенчества попадали в специализированные заведения; или, если по мере взросления им удавалось «выправиться», – ничего не знали о «грязной тайне» собственного диагноза и зачастую никогда в жизни не встречались с «другими такими же».

Уже была переведена на английский книга Ханса Аспергера, и первые диагнозы синдрома Аспергера уже маячили на горизонте. Однако новые средства коммуникации еще не открыли нам мир, в котором люди, неспособные говорить, могут быть «не глупее других», требовать равенства и уважения к своему достоинству. Не было чатов, форумов, блогов, многолюдных конференций по аутизму, какие есть сейчас. После выхода в свет «Никто нигде» толпы людей бросились к психиатрам и психологам со словами: «И я такой же!» Мне приходилось слышать о тех, кто прожил долгие годы в специальных заведениях, терпел дурное обращение, был бездомным или хронически безработным. И о тех, кто делал первые шаги в общении с людьми, печатая записки на пишущей машинке.

Прошло несколько лет – и диагноз синдрома Аспергера начал ставиться на каждом шагу: наступила эра упрощенного представления о «высоко-функциональных» и «низко-функциональных» людях с аутизмом. В то же время появились книги, написанные людьми с аутизмом, не способными говорить – и бросили вызов многим распространенным представлениям о «низкой функциональности».

Скоро само понятие «аутист» двинулось в том же направлении, что и понятие «глухой», разделившись надвое: «глухими» с маленькой буквы называют тех, кто пользуется слуховыми аппаратами и речью, «Глухими» с большой буквы – тех, кто заменяет звуковую речь жестовой и, как считается, образует особую культуру. Так и среди аутистов выделились те, кто считает свой аутизм неотъемлемой частью собственного «я» и приветствует его, – и те, кто относится к нему как к состоянию, с которым нужно бороться. Эта разница отразилась в том, как они начали себя называть – «аутисты» или «люди с аутизмом». Были и «неопределившиеся» – те, кто жил на границе двух миров.

Среди людей с синдромом Аспергера были и те, кто не хотел, чтобы с ними связывали ярлык «аутизма», и те, кто начал видеть в «аутичности» политическую и культурную реальность; последние зачастую яростно протестовали против любых попыток лечения или исправления аутизма. В век интернета сформировались сетевые организации, в которых страстно обсуждаются права «аутичных» людей.

Старые стереотипы умерли быстрой смертью – но на смену им приходили новые. По мере того как низко-функциональные аутисты демонстрировали большие способности, а высоко-функциональные рассказывали о сложности некоторых стоящих перед ними задач, жесткое деление на высоко-функциональных и низко-функциональных размывалось.

Появился термин «РАС» – расстройства аутистического спектра: так аутизм, синдром Аспергера и НППР (неспецифическое перва-зивное нарушение развития) впервые были объединены в одну группу. Вскоре это сокращение заменилось другим – САС (состояния аутистического спектра), а затем и просто АС (аутистический спектр). «Никто нигде» написана на заре эпохи, в течение которой мы шли от пуризма к многообразию, от единых «безразмерных» категорий – к холистическому взгляду на аутизм как на еще один, необычный облик многоликой «нормальности».

«Никто нигде» написана через год после того, как в 1989 году биомедицинское вмешательство (в то время мало кто знал о его применении в области аутизма!) начало пробуждать меня и склеивать части моей личности. Я написала ее за четыре недели, после самоубийственного опыта влюбленности в Сиона – свое «зеркало» из реального мира; впервые в жизни, ибо до того все отношения у меня возникали и разыгрывались во «внутреннем мире». Первым мою рукопись прочел доктор Себастиан Кремер, детский психиатр из

Великобритании. Возвращая ее мне, он спросил, что я собираюсь с ней делать. Изорву и сожгу, ответила я. Он спросил, не разрешу ли я вместо этого переслать рукопись его коллеге. Коллега передала ее своему издателю, тот – литературному агенту, а затем я получила факс с просьбой о разрешении ее напечатать.

Для меня «Никто нигде» – книга о том, как душа выбирается из груды мусора и встает на путь самоопределения. Надеюсь, «Никто нигде» заставляет читателей задуматься о равенстве и человеческом достоинстве «маргиналов»; а тем, кто потерян, напоминает: даже если никто не в силах спасти нашу душу, всегда остается надежда, что мы сможем помочь себе сами.

Никто нигде

Помню свой первый сон – по крайней мере первый, который мне запомнился. Я плыла сквозь что-то белое: никаких предметов, только белизна – и пятна ярких цветов, окружавшие меня со всех сторон. Я проплывала сквозь них, а они – сквозь меня, и от этого я смеялась.

Этот сон я увидела раньше всех остальных, в которых мне снилось дерьмо, люди или чудовища – и, конечно, раньше, чем заметила разницу между первым, вторым и третьим. Должно быть, мне не было и трех лет. В этом сне отразился мой мир – каким он был тогда. После пробуждения я неотступно искала этот сон и пыталась его вернуть. Я подставляла лицо под потоки света, льющегося из окна в мою кроватку, и яростно терла глаза. Вот они! Яркие цветные пятна на белом. Слышится: «Прекрати!» Я не обращаю внимания на эту помеху и весело продолжаю. И получаю шлепок.

Я обнаружила, что воздух полон пятен. Смотришь в пустоту – и видишь пятна. Мимо ходят люди и мешают мне заглядывать в волшебную пустоту. Я не обращаю на них внимания. Люди – это просто помехи. Я сосредотачиваюсь на желании затеряться в цветных пятнах: помех не замечаю – смотрю сквозь них, спокойно и удовлетворенно, чувствуя, что уже теряюсь, растворяюсь... Шлепок! Так я узнаю, что такое «мир».

Со временем я научилась растворяться во всем, в чем захочу – в узорах на обоях или на ковре, в повторяющихся звуках, в том глухом звуке, что слышится при похлопывании себя по подбородку. Даже люди перестали мне мешать. Слова их стали бессмысленным бормотанием, голоса – узором из звуков. Я научилась растворяться, глядя сквозь них – а потом и растворяться *в них*.

Слова людей мне не мешали – мешало другое: люди ждали, что я им что-нибудь отвечу. Чтобы отвечать, нужно понимать, что тебе говорят – а мне слишком нравилось растворяться в пустоте, чтобы возвращаться назад ради какого-то убогого восприятия речи.

Вот слышится окрик:

– Ты что это делаешь?!

Я знаю: чтобы избавиться от этого шума, надо дать правильный ответ. Иду на компромисс – повторяю: «Ты что это делаешь?», ни к кому конкретно не обращаясь.

– Хватит повторять все, что я говорю! – сердится голос.

Чувствуя, что надо как-то отреагировать, я отвечаю:

– Хватит повторять все, что я говорю!

Шлепок! Непонятно, чего они от меня хотят?

Первые три с половиной года жизни вся моя речь состояла из повторения чужих слов, вместе с тоном и интонациями тех, кого я позже стала называть «миром». Мир казался нетерпеливым, злым, грубым и безжалостным. И я научилась соответственно ему отвечать – кричать, визжать, убе-

гать, просто не замечать.

Однажды вместо того, чтобы просто «услышать» фразу, я по-настоящему поняла, что она имеет для меня *значение*. Мне было три с половиной года. Родители взяли меня с собой в гости к каким-то своим друзьям. Я вышла из гостиной в прихожую и начала кружиться, раскинув руки. Смутно помню, что там, кажется, были и другие дети, но меня смутил и устыдил разговор взрослых в гостиной. Кто-то спросил, приучена ли я к туалету. Мать ответила, что я все еще мочу трусы.

Не знаю, почему это сработало, но я начала лучше сознавать, что хочу в туалет. В это же время у меня был сильный страх перед туалетом. Я терпела, сколько могла – казалось, целую вечность, и бежала к горшку, только когда чувствовала, что иначе обмочусь на месте. «По-большому» порой не ходила несколько дней – до тех пор, пока меня не начинало рвать желчью. Потом я начала бояться еды. Ела только заварной крем, желе, детское питание, фрукты, листья салата, мед и куски белого хлеба, посыпанные сверху разноцветным сахарным горошком, как в моем сне. В сущности, я выбирала то, на что мне нравилось смотреть или что вызывало какие-то приятные ассоциации. Салат – это то, что едят кролики. Пушистых кроликов я любила. И ела салат. Еще я любила цветные стеклышки. Желе похоже на цветные стеклышки – и я любила желе. Как и другим детям, мне случалось есть грязь, цветы, траву, куски пластмассы. В отличие от других

детей, цветы, траву, древесную кору и пластмассу я ела и в тринадцать лет. Действовали все те же старые правила. Если мне что-то нравилось – я старалась с ним слиться. Я охотно выпускала в себя неодушевленные предметы – но не людей.

Примерно в три года у меня появились признаки истощения. Я не превратилась в скелет, но была иссиня-бледной, и от любого прикосновения на коже у меня возникали синяки. У меня обильно выпадали ресницы и кровоточили десны. Родители решили, что у меня лейкемия, и сделали анализ крови. Доктор взял у меня кровь из мочки уха. Я не сопротивлялась. Доктор дал мне разноцветную картонку, и она меня очень заинтересовала. Еще мне проверили слух, потому что, хоть я и повторяла все, что мне говорили, но вела себя, как глухая. Родители могли кричать и грохотать, стоя прямо у меня за спиной – а я и глазом не моргала. «Мир» не мог меня достать.

Казалось, сквозь душу проносится шепот:

Все есть ничто, ничто есть все,

В жизни – смерть, в смерти всего не истинного – жизнь.



Чем лучше я сознавала мир вокруг себя, тем больше его боялась. Другие люди были моими врагами, они старались добраться до меня – это было их оружие; почти все, кроме дедушки с бабушкой, папы и тети Линды.

До сих пор помню, как пахло от бабушки. Бабушка была мягкой и морщинистой, в шерстяной кофте в крупную вязку – в дырочки на кофте я просовывала пальцы. На шее она носила несколько цепочек. У нее был хрипловатый смеющийся голос, а пахло от нее камфарой. Я снимала камфару с полок в супермаркете; и двадцать лет спустя я покупала эвкалиптовое масло, бутылку за бутылкой, и разбрызгивала его по комнате, по всем углам, изгоняя все, кроме чувства покоя и уюта, связанного для меня с этим запахом. Еще собирала обрывки цветной вязаной ткани и просовывала сквозь них пальцы, чтобы спокойно уснуть. Люди, которые мне нравились, были для меня тем же, что и их вещи, а эти вещи (или похожие на них) – моей защитой от других вещей, которые мне не нравились, то есть других людей.

Я приучилась хранить эти «обереги» и возиться с ними; словно магические заклятия, они защищали меня от тех, кто может ворваться в мой мир, если я их потеряю или с ними расстанусь. Это было не безумие, не галлюцинации – безобидная фантазия, связанная с моим всепоглощающим страхом оказаться уязвимой и беззащитной.



Дедушка угощал меня изюмом и печеньем, отламывая по кусочку. Для всего вокруг он придумывал особые названия –

знал, чем меня порадовать. Он понимал мой мир – и потому мог увлечь меня своим. У него были жидкие ртутные шарики. Падая, они делились на несколько маленьких шариков, которые начинали гоняться друг за другом. Были механические собачки с заводом на две минуты – если их завести, два скотч-терьера тоже начинали гоняться друг за другом. Такая погоня была безопасной. Безопасно общаться через вещи. Безопасно придумывать для всего особые имена, создавая «наш маленький мирок». Каждое утро, еще в сумерках, я вставала и бежала во флигель, где жил дедушка.

Однажды я пришла туда. Но он меня не заметил. Дедушка лежал на боку, и лицо у него было багровое, в пятнах. Он так и не проснулся – никогда. А я не могла ему этого простить – до двадцати одного года, когда до меня вдруг дошло, что люди умирают не по собственному желанию. Тогда я заплакала и долго не могла остановиться; чтобы это понять, мне понадобилось шестнадцать лет.

Отец исчез из моей жизни, когда мне было около трех лет. До того он, как и дедушка, завораживал меня тем, что каждой вещи давал особое имя. Лису он звал Сирилом, кота – Брукенштейном, кровать – Чарли Уормтоном, а меня – Полли-опоссумом или мисс Полли. Так он меня называл, потому что до четырех лет я бессмысленным эхом повторяла все, что слышала, – как попугай.

Отец знал, что меня очаровывают разные причудливые и яркие штучки. Каждую неделю он приносил что-нибудь но-

венькое – и каждый раз нагнетал интерес, спрашивая, знаю ли я, сколько чудесного и удивительного таится в этих вещичках? Я сидела у него на коленях, не сводя глаз с новой вещи и слушая его рассказ, как будто грампластинку со сказками. В голове у меня звучало вступление: «Это сокровищница сказок, и с вами я, сказочник. Сегодня мы почитаем историю о.» Эти сокровища я храню и сейчас, двадцать три года спустя. Отец – тот, который был – меня покинул. Много лет спустя я нашла его – другого: он мне понравился, но еще несколько лет понадобилось мне, чтобы осознать, что тот папа и этот папа – один и тот же человек.



Я была мягкой, а мать моя – жесткой и безжалостной; хотя, как ни странно, в замкнутости и нелюдимости мы с ней были схожи.

Был у меня и старший брат. Думаю, он стал для нее «единственным» ребенком. Она хотела отдать меня в детский дом. Помню, как много раз она пыталась запихнуть меня в машину, а я в ужасе, в истерике сопротивлялась и лупила по машине ногами. Зная, на что еще способна мать, я думала: если отсылка в детдом – даже для нее крайняя мера, значит, это какая-то нестерпимая мука, ад на земле.

Быть может, ей хотелось иметь дочь. Брата она одевала

поочередно то как мальчика, то как девочку, и в таком виде вывозила в коляске. Оба мы были симпатичными детьми, но он умел «вести себя нормально» – с ним было не стыдно гулять.

Не сомневаюсь, что отец разрушил ее планы, когда передал ответственность за меня дедушке и бабушке. Быть может, они старались до меня достучаться и не оставляли надежду, когда мать давно ее оставила. Так или иначе, отец за это заплатил. Отношения их с матерью так и не восстановились. Мать запретила ему разговаривать со мной, вообще иметь со мной дело. Когда мать открывала рот – стены тряслись. Не услышать ее не смог бы даже глухой.



Все считали, что к ней и к моему старшему брату отец был так же равнодушен и бесчувствен, как она ко мне. Так или иначе, семья раскололась – ровно посередине спирали, ведущей вниз, к крутому спуску в геенну огненную.

Раскол отразился в прозвищах, которые дали мне родители. Для отца я была Полли. Для матери Долли, «кукла» – и она сама объяснила мне, что это значит: «Ты была моей куклой, и я могла выместить на тебе злость» – это она повторяла не раз. Получилась цепная реакция. Напряжение нарастало: он унижал и обижал ее – она унижала и обижала меня. Оба они нашли для себя способы бегства, которым можно было

предаваться много лет, оставляя за собой такие разрушения, с какими не могло справиться волшебство моего маленького замкнутого мирка.

Я никогда не обнимала ни отца, ни мать, и меня никто не обнимал. Я не любила, когда кто-то подходит ко мне слишком близко или, тем более, до меня дотрагивается. Прикосновений я боялась, чувствуя, что всякое прикосновение несет в себе боль.



Хоть у матери и не было подруг, перед которыми можно похвастаться, ей хотелось гордиться тем, как выглядят ее дети. Поэтому она расчесывала мне волосы. У меня были длинные вьющиеся белокурые волосы, вечно спутанные – и она со злобой продиралась сквозь них расческой.

Тетя Линда любила расчесывать мне волосы: она прикасалась к ним так легко, что меня это даже раздражало. «Тебе не больно?» – спрашивала она, как будто я фарфоровая кукла. «Сильнее!» – требовала я. Она не продиралась сквозь колтуны, а аккуратно их распутывала; это могло продолжаться часами – а я сидела и просто наслаждалась этим ощущением. «Волосы у тебя сказочные, – говорила она, – такие шелковистые, кажется, дунь – и улетят!» Мне нравились выбранные ею слова – я представляла, каково это на ощупь. Много лет я играла со своими волосами, теребила их и жевала. Когда

хотела выразить симпатию к другому ребенку, касалась его волос – это был единственный возможный для меня дружеский физический контакт.

*Я лежу, окруженная прозрачными жгутиками.
Они охраняют мою постель.
Ведь жгутики – мои друзья.*



Люди вечно говорили, что у меня нет друзей – а на самом деле мой мир был полон друзей. Друзей, куда более волшебных, надежных, предсказуемых и реальных, чем другие дети, друзей, с которыми я могла ничего не опасаться. Это были создания моих собственных фантазий, где мне не требовалось себя контролировать, или предметы, животные, природа, которые ничего от меня не хотели – просто *были*. Были у меня и друзья, не принадлежащие к нашему физическому миру: жгутики – и пара зеленых глаз под кроватью по имени Уилли.

Я боялась засыпать, всегда боялась – я научилась спать с открытыми глазами и так спала много лет. Наверное, выглядела я при этом не слишком нормально. Здесь уместнее было бы слово «навязчивый» или «преследуемый». Я боялась темноты, хотя ранние сумерки и рассветы любила.

Самые ранние мои воспоминания о жгутиках относятся ко времени, когда я начала спать во «взрослой» кровати. Должно быть, это было уже в новом доме, хотя в моем сознании он смешивался со старым. В старом доме все мы жили в нескольких проходных комнатах, в новом – нет, и это меня беспокоило. Мне нравилось знать, где находятся все – в том числе и родители. Прежде чем заснуть, надо было убедиться, что все на своих местах и уже спят. Я лежала в кровати, недвижимая, не издавая ни звука, вслушиваясь в приглушенный домашний шум за стеной – и в этот миг увидела, что надо мной парят в воздухе прозрачные жгутики.

Это были крошечные создания, прямо у меня над головой, похожие на пряди волос (видимо, из этого образа они и родились в моем сознании). Почти прозрачные – но, если смотреть сквозь них, можно было увидеть, как их много.

Кроме жгутиков, мою кровать окружали крохотные пятнышки, которые я называла звездочками – со всех сторон, словно я лежала в каком-то таинственном хрустальном гробу. С тех пор я узнала, что это просто частички воздуха, однако зрение мое было столь чувствительно, что эти «звездочки» часто становились передним планом, а весь остальной мир расплывался.

Чтобы разглядеть звездочки, надо смотреть не на них, а сквозь них – и ни в коем случае не закрывать глаза, а то они разлетятся и оставят меня беззащитной перед теми, кому вздумается ворваться ко мне в комнату. Забота о безопас-

ности – дело утомительное.

Иногда незваные гости все же вторгались ко мне в спальню – и защита исчезала без следа, потому что, стоило отвести взгляд, крошечные пятнышки исчезали; и я злилась и чувствовала себя преданной – моя охрана скрылась, оставив меня одну, без защиты, на милость врага!

Я знала, что людей тревожит моя привычка спать с открытыми глазами. Скоро я научилась закрывать глаза, услышав их шаги, прикидываться крепко спящей, не смотреть на них и вообще никак не реагировать, даже если они поднимали мне веки и заглядывали в глаза, даже если чем-нибудь тыкали в глаз. Я дышала – только по этому можно было определить, что я жива.

К тому времени, как я начала ходить в «нормальную» школу, жгутики исчезли; а звездочки вокруг меня во сне порой появлялись, хотя и не часто, и иногда появляются и сейчас.



Уилли – это совсем другая история. Начался Уилли в то же время, что и жгутики. Мне было, наверное, года два. В отличие от жгутиков, он меня не успокаивал, но тоже был формой защиты от незваных ночных гостей. Уилли – это пара пронзительных зеленых глаз, которые можно увидеть только в темноте. Я его боялась – но полагала, что враги тоже долж-

ны его бояться, так что, чем черт не шутит, может, выгоднее быть на его стороне. Сближаясь с чем-то, я всегда старалась в нем раствориться – и теперь начала спать под кроватью и сделалась Уилли.

К этому времени мне было три года. Уилли стал моим «я», обращенным к внешнему миру – миру, полному злобно сверкающих глаз, поджатых ртов, жестко выпрямленных спин и сжатых кулаков. Уилли топал ногой, Уилли плевался, когда ему что-то не нравилось, а самым страшным его оружием был свирепый, полный ненависти взгляд – но отвечать за его поведение приходилось Донне.

Теперь я взаимодействовала с внешним миром как Уилли. Имя, возможно, происходило от моей собственной фамилии, а образцом в поведении и главным его «адресатом», по крайней мере, отчасти, служил мой главный мучитель – мать.

Уилли учился подхватывать чужие слова и повторять их так, чтобы в них появлялся смысл и агрессия. Хотя куда более смертоносным оружием казалось молчание. Мать начала думать, что я – зло, что во мне сидит бес. Легче было бы ее простить, если бы она страдала от галлюцинаций. Но галлюцинаций у нее не было. К таким мыслям привели ее недостаток образования и воспитания, сидение в четырех стенах и пьянство.



Мать тоже жила в своем собственном мире, но, в отличие от меня, ей он не приносил безопасности. Единственным ее спасением, единственным другом стал мой брат. Они объединились против меня, и в этой войне мне пришлось сражаться в одиночку.

Я была «чокнутой», «отсталой», «психованной». У меня были «заскоки», я не могла нормально себя вести. «Ты только посмотри на нее!» – говорили они. Когда я жила в собственном мире, то была «отсталой», когда выходила в их мир – оказывалась «чокнутой». Победить было невозможно.

Пытаясь поставить себя на их место, я понимаю, что они тоже не могли победить. Брат, должно быть, ясно ощущал, что я его не признаю и им не интересуюсь, а мать уже давно считала, что у нее – задолго до того, как появилась я – украли жизнь, лишили ее гордости, столь для нее драгоценной. Она стала несчастной матерью-одиночкой. Он – обожаемым единственным ребенком. Мне они бросали обвинения – но и сами слышали обвинения от других.

Люди говорили, что это из-за нее, из-за ее холодности и жестокости я расту такой «странной». Быть может, она этому верила – а я не возражала. Если бы я когда-нибудь захотела выйти в этот назойливый и страшный мир *как я сама* – не сомневаюсь, она бы жестоко покарала меня за это. Однако

даже дети – жертвы родительской жестокости обычно бывают привязаны к родителям. Я же никогда не любила мать.

Если бы я хотела вести войну, то, думаю, ее бы выиграла. Хотя «социальным инвалидом» мать оказалась еще до моего рождения, я признаю свою долю ответственности за то, что еще ухудшила ее положение, что лишила ее и брата свободных, более независимых отношений друг с другом – и это вылилось в то, что много лет спустя он ее отверг.

Когда мать и отец боролись за мою судьбу – он хотел оставить меня дома, она отдать в интернат – видимо, у каждого из них было какое-то представление о моем будущем. Правы оказались оба. Для отца я стала наградой. Для матери – адом. Впрочем, одну награду я преподнесла и ей. Я стала танцующей куколкой Долли, которой у нее никогда не было.



В три года мать отвела меня на первый урок танцев. Я ходила на цыпочках, любила классическую музыку, танцевала сама для себя – все это было воспринято как признак того, что у меня есть способности к балету. Я любила все красивое – ленты, пачка и блески мне понравились. Надев их, я сделала их частью себя – против этого у меня возражений не было. Совсем другое дело, когда частью моей жизни стремились стать другие люди!

Помню грозовую тучу над крышей дома, где мне предсто-

яло дать первое и (надолго) последнее публичное выступление. Помню грязную тропинку, которая была протоптана в полосе травы. По-видимому, это была колея от машины, но тогда я видела мир как отдельные несвязанные фрагменты, а не как части целого.

Мы поднялись на крыльцо и вошли в двойную деревянную дверь. Меня поразило зал – дерево и гладкость пола. Мать в этот миг, должно быть, представляла себя маленькой девочкой на моем месте.



Мать была второй из девяти детей в семье и второй по старшинству дочерью. Семья ее была бедна, и вместо справедливого распределения скудных излишков между всеми детьми все доставалось старшей дочери.

У старшей были куклы, красивые платья, уроки танцев – а всех остальных одевала и развлекала Армия Спасения. Мать смотрела на сестру с восхищением и ненавистью. Бросив попытки с ней соперничать, она выбрала себе роль старшей среди братьев – и в ней преуспела. Эта роль была не так красива, не так завидна, не внушала особенного самоуважения, однако дала какое-то положение и возможность отомстить – жестоко доставать сестру и ее подруг (своих друзей у матери не было).

Сестра ее расцветала в лучах внимания, сделалась оча-

ровательной девушкой, всеобщей любимицей. Со временем она заплатила за это стыдом и чувством вины – и обратилась к младшей сестре, моля о прощении; но мать уделила ей столько же милосердия, сколько я матери – ни капли.



Казалось, дети здесь повсюду. Розовые руки и ноги торчат из тел, запакowanych в черные леотары с надписью «Школа танцев Уиллоуби». Резкий голос инструктора прорезает шум – и гвалт детских голосов стихает.

Дети выстраиваются в ряды. Все мы образуем огромный квадрат из параллельных линий. «Смотрим вперед. Нет, ты подвинься левее... да нет, не правее – левее! Ты становись здесь...» Навязчивые руки тормозят, куда-то двигают, что-то показывают. Смотрю себе под ноги. Стены вокруг меня сдвигаются.

Музыки почти не слышу. Слишком много суеты вокруг, слишком много всего вторгается в мое пространство и мое сознание. Сжав кулаки, я топаю ногой и несколько раз плюю на пол. «Заберите ее, миссис Уильямс, – говорит учитель, мистер Уиллоуби. – Боюсь, для занятий она еще мала. Приходите через пару лет».

Мать пристыжена – все ее мечты и надежды разлетелись в прах. Я смотрю в пол. Меня больно дергают за руку. Поднимаю глаза. Она цедит безжалостно:

– Все, с меня хватит. Ты отправляешься в детдом!

Помню свой ужас; должно быть, он выплеснулся наружу по дороге домой, но этого я уже не сознавала. Вот так из Уилли не вышло балерины.

После этого мать начала видеть во мне не себя саму в детстве, а свою избалованную сестру. Я стала для нее «Мэрион», а чаще, чтобы подчеркнуть ее ненависть, – «Мэгготс»; и «Мэгготс» я осталась на долгие годы.

*Девочка из зеркала смотрит на меня,
Думает: я сумасшедшая, верит, что я свободна.
Но, глядя на нее, я вижу в ее глазах:
Она пытается понять, что я не лгу,
Я просто ищу дорогу домой – к себе.*



В конце нашей улицы был парк, а по дороге к нему росли розы. Там стояли дома, и у каждого особое название. Тот, что в конце, назывался «Розовый дом».

Ранним утром я покидала дом и отправлялась на поиски приключений. Наблюдала за рыбками в пруду у мистера Смита, заглядывала через стеклянные задние двери в дом розовой леди, танцевала в их садах, распевая песни или громко декламируя подхваченные где-то стихи. Еще я ела

цветы в горшках у Лениной матери или обрывала лепестки у роз в саду розовой леди, подбрасывала их высоко в воздух и шагала сквозь них, словно сквозь звездочки вокруг кровати. Быть может, издалека я казалась ангелочком – но, подойдя ближе, вы разглядели бы бесенка. Розовая леди ни разу не говорила мне, чтобы я не трогала розы. Однажды кто-то что-то сказал о том, как я пою. Тогда я перестала петь на глазах у людей; но еще много лет понадобилось мне, чтобы понять – когда я их не вижу, они все равно меня слышат.



Парк был волшебной страной. Я залезала на качающуюся доску, ложилась посредине и качалась, поднимая то голову, то ноги. Качаясь на качелях, я делала так, чтобы Ленин двор то появлялся, то исчезал, и смеялась этому. Иногда Лина выходила во двор и видела меня. Порой она выходила в парк или кричала мне, чтобы я шла к ней. Я только смеялась – и раскачивалась все выше и выше. На такой высоте никто не сможет меня тронуть.

Лина и ее мать говорили только по-итальянски, и мне нравилось слушать их разговоры. Голоса у них были мягкие, и даже приказы звучали совсем не зло.

Мне нравилось, как пахнет у них дома, нравились разные интересные вещи, на которые и сквозь которые можно бы-

ло смотреть. Хрустальные бокалы в шкафах полированного дерева, выстроенные в ряд на зеркальных полках – гордо, словно на сцене. Гладкий, сияющий, как будто шелковистый пол. Такой пол прямо съесть хотелось. И все здесь хотелось потрогать. Я терлась щекой о занавески, о шкафы, о сиденья, о стеклянную дверь.

Мать Лины говорила, что я красавица, и угощала меня кусочками кальмара. Кальмар мне нравился, потому что нравилась Лина мать. Когда она смеялась, глаза ее танцевали, и все тело тряслось от смеха.

Нравилась мне и Лина. У нее был старший брат-задира – это мне было понятно.

Линина мать спрашивала, что случилось с ее цветами – их как будто кто-то покусал. Я отворачивалась, стараясь сдерживать смех.

«Это ты?» – жестом спрашивала Лина. Я смотрела ей в глаза – и мои глаза не лгали.



В парке жило мое любимое дерево. Я забиралась на него – обычно на самую высокую ветку, до какой могла добраться – цеплялась ногами и раскачивалась, повиснув вниз головой. Иногда пела, иногда просто мычала какой-нибудь мотив. Все вокруг двигалось в ритме музыки – и я была счастлива.

В один прекрасный день я качалась на своем дереве. По-

дошла какая-то девочка и заговорила со мной. Звали ее Кэрол. Должно быть, я ей показалась странной: на мне не было ничего, кроме белой кружевной ночнушки, да и та задралась, прикрыв голову и выставив на обозрение все остальное. Еще больше, наверное, поразило ее мое лицо; я стащила мамину косметику и разрисовала себя узорами. Мне думалось, что это очень красиво. Вид, наверное, был жуткий.

Порой, раскачавшись особенно высоко, я просто разжимала ноги, соскальзывала с ветки – и летела, а потом с грохотом приземлялась. Иногда мне удавалось сгруппироваться. В других случаях после такого приземления на мне появлялись царапины и ссадины. Но не все ли равно? Я вскакивала и отправлялась на поиски новых приключений. Мир мой был богат – но, как многие богачи, я была очень одинока.

И я пошла с этой большой девочкой. Ее воодушевление меня поразило и увлекло, хоть я не понимала почти ни слова из того, что она говорила. Я слышала слова. Может быть, их повторяла. Но значение для меня имели лишь ее действия и их способность меня увлечь, как увлекало меня все новое.



Мы пошли к Кэрол домой. У нее оказалась мать. Увидев мое лицо, она пришла в ужас. А я не понимала, чему она ужасается – ведь такие красивые цвета! Обе они смеялись.

При мне люди часто смеялись – все, кроме матери.

Позже люди часто мне говорили, что смеются не надо мной, а вместе со мной – но ведь я-то не смеялась! Я подражала им, делала то, что они считают правильным. Они смеялись моему странному смеху, и я смеялась вместе с ними, а они считали, что я забавная и что мне самой очень весело. Когда я стала постарше, это умение мне пригодилось. Со мной стали дружить. Я научилась играть роль.

Мать Кэрол протерла мне фланелькой лицо, руки и ноги. Я стояла перед ней новенькая и чистенькая. Она дала мне стакан с каким-то питьем. Я смотрела на стакан, ожидая, что мне скажут, что делать. «Вот, можешь попить», – сказал голос. Но это был не приказ – просто утверждение. Я посмотрела на стакан, на мать, затем на девочку. Девочка за столом напротив меня поднесла к губам свой стакан и начала пить. То же сделала и я. Я была ее зеркалом.

– Где она живет? – спросил голос.

– Не знаю. Я ее нашла в парке, – ответил другой голос.

– Знаешь что, отведи-ка лучше ее обратно, – сказала мать.

Страх охватил меня и унес – я перестала быть здесь.

Кэрол взяла меня за руку и повела обратно в парк. Глаза мои, словно камера, фиксировали каждое мгновение. Она живет в другом мире, в этом своем доме. Я так хотела стать частью этого мира! Я не отрывала от нее глаз, чувствуя себя преданной. Мир меня выталкивал.

Но теперь у меня появился выбор. Я хотела жить в мире

Кэрол, в доме Кэрол. «Где ты живешь?» – послышался ее голос; она стремительно ускользала из моей реальности. Я смотрела на нее: внутри у меня все вопило от горя, но я не издавала ни звука. Молча смотрела, как эта девочка, Кэрол, говорит слова и машет рукой на прощание. Много лет потом я спрашивала себя, была ли она на самом деле – ведь никому до тех пор не удавалось с такой силой вовлечь меня в «мир». Этой незнакомке, которую я встретила всего один раз, предстояло изменить мою жизнь. Она стала «девочкой в зеркале». А позже я сама стала Кэрол.

Став старше, я постоянно приносила в дом котят, точь-в-точь как Кэрол тогда привела домой меня – и ждала, когда же моя мать станет матерью Кэрол. Но этого так и не случилось.



В конце концов я перестала ждать, что Кэрол снова придет в парк. Качаться на дереве мне больше не хотелось. Это было слишком больно. Теперь я начала проводить почти все время перед зеркалом.

В спальне у меня стояло большое зеркало. В нем видна была дверь в спальню брата. Брат никогда не входил через эту дверь: то ли он вообще там не спал, то ли выходил через заднее крыльцо. Если бы он вдруг вошел – я бы, наверное, завопила что есть мочи. Комната была моим миром: единственный пришелец, чье присутствие здесь, хоть и незваное

и нежеланное, я могла терпеть, была моя мать.

Днем я закрывала дверь. Ночью держала ее открытой, чтобы следить, не попытается ли кто-то ко мне войти. Но Кэрол пришла через зеркало.

Выглядела Кэрол точь-в-точь как я, но ее выдавал взгляд. Это все-таки Кэрол! Я начала с ней разговаривать – она повторяла все мои движения. Я сердилась – совсем не этого я от нее ждала. «Почему?» – мысленно спрашивала я, и выражение ее лица задавало мне тот же вопрос. Должно быть, думала я, ответ – тайна.

Я решила: должно быть, Кэрол понимает, что никто не должен увидеть нас вместе, и оберегает меня таким способом. Тогда я начала с ней шептаться: прижималась лицом к самому ее лицу – и не могла понять, почему она не поворачивается ухом, чтобы меня услышать.

Когда я не стояла перед зеркалом, Кэрол исчезала, и я чувствовала себя покинутой. Но, стоило подойти к зеркалу, она возвращалась, и я старалась заглянуть за зеркало, чтобы понять, куда она уходит – не в ту ли дверь на заднем плане? В зеркале – это уже не дверь в спальню брата, ведь там я вижу не свой дом, а дом Кэрол. А эта комната в зеркале – комната между ее миром и моим.

Теперь я разгадала тайну. Если смогу попасть в ту комнату – останусь с ней, в ее мире. Единственный вопрос – как пройти сквозь зеркало?

Я понимала: чтобы войти в ту комнату, надо преодолеть

зеркало. Это я пыталась сделать следующие четыре года. Подходила к зеркалу вплотную – и удивлялась, почему же не прохожу сквозь него?

Напряжение моей внутренней борьбы становилось невыносимым. Я умела произносить слова, но хотела общаться. Хотела что-то выражать, о чем-то рассказывать. Было так легко поддаться тревоге – снова потеряться, забыть о себе и обо всем, что меня окружает.

Я плакала и отчаянно заглядывала в глаза Кэрол в зеркале, пытаясь понять, как мне вырваться из своей внутренней тюрьмы. В отчаянии я начала причинять себе боль – била себя по лицу, кусала, дергала за волосы. Впрочем, переплюнуть мать мне так и не удалось – она была больнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.